



ВЕНИАМИН
КАВЕРИН



Два капитана



АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
К12

Серия «Русская классика» основана в 2008 году

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Ю.М. Мардановой

Подписано в печать 25.08.14. Формат 84x108 1/32.
Усл. печ. л. 32,76. Доп. тираж экз. Заказ №

Каверин, Вениамин

К12 Два капитана : [роман] / Вениамин Каверин. — Москва: АСТ, 2014. — 619, [5] с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-057754-5

«Два капитана» — роман, положенный в основу двух прекрасных фильмов, бесчисленного множества инсценировок и даже самого знаменитого российского мюзикла.

Книга, не подвластная времени и ходу истории.

Возможно, лучшее остросюжетное произведение XX века, созданное на русском языке.

Приключения Сани Григорьева и его возлюбленной Кати Татаринвой, смело идущих к намеченной цели и рискующих жизнью, чтобы найти следы исчезнувшей экспедиции бесстрашного отца Кати, капитана Ивана Татаринова, завораживали и продолжают завораживать все новые поколения юных и взрослых читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

© В. Каверин, наследники, 2012
© ООО «Издательство АСТ», 2014

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Глава первая

ПИСЬМО. ЗА ГОЛУБЫМ РАКОМ

Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона. Он лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца, еще совсем молодой, белокурый, в форменной тужурке с блестящими пуговицами: должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом.

Сумку отобрал городской, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запыралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда всему двору. Это было так интересно, что даже старухи, ходившие к Сквородникову играть в «козла», бросали карты и присоединялись к нам. Одно из этих писем тетя Даша читала чаще других — так часто, что в конце концов я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я еще помню его от первого до последнего слова.

«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!

Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеюсь вскоре увидиться с Вами, не буду рассказывать о нашем тяжелом путешествии на Землю Франца-Иосифа по плавучим льдам. Неверо-

ятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) добрался до мыса Флора. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть об этом, так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после которой останется только уповать на милосердие божие, а как я буду жить без ног — не знаю. Но вот что я должен сообщить Вам: «Св. Мария» замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрепятственно движется на север вместе с полярными льдами. Когда мы ушли, шхуна находилась на широте 82°55'. Она стоит спокойно среди ледяного поля, или, вернее, стояла с осени 1913 года до моего ухода. Может быть, она освободится и в этом году, но, по моему мнению, вероятнее, что в будущем, когда она будет приблизительно в том месте, где освободился «Фрам». Провизии у оставшихся еще довольно, и ее хватит до октября — ноября будущего года. Во всяком случае, спешу Вас уверить, что мы покинули судно не потому, что положение его безнадежно. Конечно, я должен был выполнить предписание командира, но не скрою, что оно шло навстречу моему желанию. Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь начальника Гидрографического управления и письмо для Вас. Не рискую посылать их почтой, потому что, оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как не менее трех месяцев я должен провести в больнице. Жду Вашего ответа.

С совершенным уважением, готовый к услугам штурман дальнего плавания

И. Климов».

Адрес был размыт водой, но все же видно было, что он написан тем же твердым, прямым почерком на толстом пожелтевшем конверте.

Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы — каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец.

Он поздно возвращался с пристани; пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен и хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил — грузный, коренастый, уса́тый, в маленькой суконной шапочке,

в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка да вытирал усы. Потом он брал детей — меня и сестру — и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом, а иногда каким-то протухшим машинным маслом, и я помню, как от этого запаха мне становилось скучно.

Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил все, что меня окружало. Маленькая тесная комната с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекой, — это наш дом. Красивая черная женщина с распущенными волосами, спящая на полу на двух мешках, набитых соломой, — это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из-под лоскутного одеяла, — это ноги моей сестры. Худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и крадучись выходит во двор, — это я.

Уже давно было выбрано подходящее место, веревка припасена, и даже хворост сложен у Пролома; не хватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные — черные, зеленые, желтые. Эти шли на лягушек, на костер. Но голубой рак — в этом были твердо убеждены все мальчишки — шел только на гнилое мясо. Вчера наконец повезло: я стащил у матери кусок мяса и целый день держал его на солнце. Теперь оно было гнилое; чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки...

Я быстро пробежал по берегу до Пролома; здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни: на одном берегу Покровская, на другом — Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сквородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти и что он сам видел, как они перебирались на наш берег, — перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного.

Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костер, увидел черную худую фигуру в проломе крепостной стены.

— Ты что здесь делаешь, шкет? — спросил черт, совершенно как люди.

Если бы я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся.

В эту минуту луна вышла из-за облаков, и сторож, ходивший на том берегу вокруг кожевенного склада, стал виден — большой, грузный, с винтовкой, торчавшей за спиной.

— Раков ловишь?

Он легко прыгнул вниз и присел у костра.

— Что ж ты молчишь, дурак? — спросил он сурово.

Нет, это был не черт! Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которой он все время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф.

— Что ж, ты говорить со мной не хочешь, подлец? — Он ткнул меня тростью. — Ну, отвечай! Отвечай! Или...

Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал.

— Э, да ты глухонемой!

Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли.

— Прекрасный город! — сказал он с отвращением. — В каждом дворе — собаки; городские — звери. Ракоеды проклятые!..

И он стал ругаться.

Если бы я знал, что произойдет через час, я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя все равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костер и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный.

Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты, а потом мелькнул на том берегу и исчез.

Костер мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные черные раки, не очень крупные, — в пивной за таких платили копейку пара.

Холодный ветер начал тянуть откуда-то сзади, штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой! В последний раз была

закинута веревка с мясом, когда я увидел на том берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре, ярко освещенном луной, но сторож почему-то на ходу снял винтовку:

— Стой!

Он не выстрелил, только шелкнул затвором, и в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно потому, что и теперь еще не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину: тихие берега, расширяющуюся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту две длинные тени бегущих людей.

Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крикнул и вдруг откинулся назад — должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной.

Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост: будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперед руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда, трясаясь от страха, я подошел к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением, и все стало тихо.

Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке, — вот тут-то и увидел, что она пуста, и снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не случилось мне бегать с такой быстротой, даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков и растерял половину, пока добрался до дому. Но тут было не до раков!

С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали, никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения. Еще минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго еще не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, освещенный луной, и две длинные бегущие тени.

Глава вторая

ОТЕЦ

Два огорчения ожидали меня на следующее утро. Во-первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для щук. Во-вторых, пропал монтерский нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я все перебрал и дома и во дворе — нож как сквозь землю провалился.

Так провозился я до двенадцати часов, когда нужно было идти на пристань — нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился.

Пристань теперь на другом берегу, а на этом — бульвар, засаженный липами, которые так и остались любимыми деревьями нашего города. Но в тот день, когда я нес отцу горшок щей в узелке и картошку, на месте этого бульвара стояли балаганы, построенные для рабочих; вдоль крепостной стены были сложены пирамидами хлебные кули и мешки; широкие доски перекинуты с барж на берег, и грузчики с криком: «Эй, поберегись!» — катили по ним заваленные товарами тачки. Я помню воду у пристани в жирных перламутровых пятнах, стертые столбы, на которые набрасывались причалы, смешанный запах рыбы, смолы, рогожи.

Еще работали, когда я пришел. Тачка застряла между досками, и все движение с борта на берег остановилось. Задние кричали и ругались, двое каталёй лежали на ломе, стараясь поднять и поставить в колею соскользнувшую тачку. Отец неторопливо обошел их. Он что-то сказал, наклонился... Таким я запомнил его — большим, с круглым усатым лицом, широкоплечим, легко поднимающим тяжело нагруженную тачку. Таким я его больше не видел.

Он ел и все посматривал на меня — «что, Саня?», когда толстый пристав и трое городских появились на пристани. Один крикнул «дядю» — так назывался староста артели — и что-то сказал ему. «Дядя» ахнул, перекрестился, и все они направились к нам.

— Ты Иван Григорьев? — спросил пристав, закладывая за спину шашку.

— Я.

— Берите его! — закричал пристав и побагровел. — Он арестован.

Все зашумели. Отец встал, и все замолчали.

— За что?

— Ты у меня поговори!.. Взять!

Городовые подошли к отцу и взяли его под руки. Отец двинул плечом — они отскочили, и один городской вынул шашку.

— Ваше благородие, как же так? — сказал отец. — За что же брать меня? Я не кто-нибудь, меня все знают.

— Нет, брат, тебя еще не знают, — возразил пристав. — Ты разбойник... Взять!

Снова городовые подступили к отцу.

— Ты, дурак, селедкой-то не махай, — тихо сквозь зубы сказал отец тому, который вынул шашку. — Ваше благородие, я семейный человек, работаю на этой пристани двадцать лет. Что я сделал? Вы скажите всем, чтобы все знали, за что меня берут. А то ведь и вправду подумают люди, что я — разбойник!

— Ну, прикидывайся, святой! — закричал пристав. — Не знаю я вас!.. Ну!

Городовые как будто медлили.

— Ну!

— Подождите, ваше благородие, я сам пойду... Саня... — Отец наклонился ко мне: — Саня, беги к матери, скажи ей... Ах, да ты ведь...

Он хотел сказать, что я немой, но удержался. Он никогда не произносил этого слова, как будто надеялся, что я когда-нибудь еще заговорю. Он замолчал и оглянулся.

— Я схожу с ним, Иван, — сказал староста, — ты не беспокойся.

— Сходи, дядя Миша. Да вот еще... — Отец вынул три рубля и отдал артельному. — Передай ей. Ну, прощайте.

Все хором ответили ему.

Он погладил меня по голове и сказал:

— Не плачь, Саня.

А я и не знал, что плачу.

И теперь страшно мне вспомнить, что сделалось с матерью, когда она узнала, что забрали отца. Она не заплакала, но зато, только «дядя» ушел, села на кровать и, стиснув зубы, сильно ударилась головой о стену. Мы с сестрой заревели — она даже не оглянулась. Бормоча что-то, она билась головой. Потом встала, накинула платок и ушла.

Тетя Даша хозяйничала у нас целый день. Мы спали, то есть сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал: сперва об отце, как он со всеми прощался, потом о толстом приставе, потом о его маленьком сыне в матроске, которого я видел в губернаторском саду, потом о трехколесном велосипеде, на котором катался этот мальчик, — вот бы мне такой велосипед! — и, наконец, ни о чем, когда вернулась мать. Она вошла похудевшая, черная, и тетя Даша подбежала к ней...

Не знаю почему, мне вдруг представилось, что отца зарубили городовые, и несколько минут я лежал не двигаясь, не помня себя от горя и не слышал ни слова. Потом понял, что нет, он жив, но мать к нему не пускают. Три раза она сказала, что он взят за убийство... ночью убили сторожа на понтонном мосту... прежде чем я догадался, что ночью — это сегодня ночью; что сторож — это тот самый сторож; что понтонный мост — тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня: должно быть, подумала, что я испугался. Но я уже «говорил»... Если бы я умел говорить!

Мне хотелось рассказать все, решительно все: и как я тайком удрал на Песчанку ловить раков, и как черный человек с тросточкой появился в проломе крепостной стены, и как он ругался, скрипел зубами, а потом плюнул в костер и ушел. Слишком трудная задача для восьмилетнего мальчика, который едва мог произнести два-три невнятных слова!

— И дети-то расстроились, — вздохнув, сказала тетя Даша, когда я замолчал и, думая, что теперь все ясно, посмотрел на мать.

— Нет, он что-то хочет сказать. Ты что-нибудь знаешь, Саня?

О, если бы я умел говорить! Снова принялся я рассказывать, изображать... Мать понимала меня лучше всех, но на этот раз я с отчаянием видел, что и она не понимает ни слова. Еще бы! Как не похожа была сцена на понтонном мосту на то, что пытался изобразить худенький черный мальчик, метавшийся по комнате в одной рубашке! То он бросался на кровать, чтобы показать, как крепко спал отец в эту ночь, то вскакивал на стул и поднимал крепко сложенные кулаки над недоумевающей тетей Дашей...

Она перекрестила меня наконец:

— Его мальчишки побили.

Я замотал головой.

— Он рассказывает, как отца арестовали, — сказала мать, — как городской на него замахнулся. Правда, Саня?

Я заплакал, уткнувшись в ее колени. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну.

Глава третья

хлопоты

Все же это удалось бы в конце концов, если бы наутро не заболела мать. Она у меня всегда была странная, но такой странной я ее еще никогда не видел.

Прежде, когда она вдруг начинала стоять у окна часами или ночью вскакивать и в одной рубашке сидеть у стола до утра, отец отвозил ее на несколько дней домой, в деревню, и она возвращалась здоровой. Теперь не было отца, да, впрочем, едва ли помогла бы ей теперь эта поездка!

Простоволосая, босая, она стояла в сенях и даже не оборачивалась, когда кто-нибудь проходил в дом. Она все молчала, только изредка рассеянно говорила два-три слова.

И она как будто боялась меня. Когда я начинал «говорить», она с болезненным выражением затыкала уши. Как будто стараясь что-то припомнить, она проводила рукой по глазам, по лбу. Она была такая, что даже тетя Даша втихомолку крестилась, когда в ответ на ее уговоры мать оборачивалась и молча смотрела на нее исподлобья черными, страшными глазами...

Прошло, должно быть, недели две, прежде чем она очнулась. Рассеянность еще мучила ее, но понемногу она стала разговаривать, выходить со двора, работать. Теперь все чаще повторялось у нее слово «хлопотать». Первый сказал его старик Сковородников, за ним тетя Даша, а потом уже и весь двор. Нужно хлопотать! Мне смутно казалось, что это слово чем-то связано с игрушечным магазином «Эврика» на Сергиевской улице, в окнах которого висели хлопушки.

Но вскоре я убедился, что это совсем другое.

В этот день мать взяла нас с собой — меня и сестру. Мы шли в «присутствие» и несли прошение. Присутствие — это было темное здание за Базарной площадью, за высокой железной оградой.

Мне случалось видеть несколько раз, как чиновники по утрам шли в присутствие. Не знаю, откуда появилось у меня такое странное представление, но я был твердо убежден, что они там и оставались, а на другое утро в присутствие шли уже новые чиновники, на третье — новые, и так каждый день.

Мы с сестрой долго сидели в полутемном высоком коридоре на железной скамейке. Сторожа бегали с бумагами, хлопали двери. Потом мать вернулась, схватила сестру за руку, и мы побежали. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. Но я услышал сухой, равнодушный голос, и этот голос, к моему ужасу, говорил то, на что только я один во всем мире мог бы основательно ответить.

— Григорьев Иван... — И послышался шорох переворачиваемых страниц... — Статья 1454 Уложения о наказаниях. Предумышленное убийство... Что ж ты, голубушка, хочешь?

— Ваше благородие, — незнакомым, напряженным голосом сказала мать, — он не виноват. Не убивал он никогда.

— Суд разберет.

Я давно уже стоял на носках, закинув голову так далеко, что она, кажется, готова была отвалиться, но видел над барьером только руку с длинными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки.

— Ваше благородие, — снова сказала мать, — я желаю подать прошение в суд. Весь двор подписал.

— Прощение можешь подать, оплатив гербовой маркой в один рубль.

— Тут заплачено... Ваше благородие, это не его нож нашли. Нож?! Я подумал, что ослышался.

— На этот счет имеется собственное показание подсудимого.

— Может, он его неделю как потерял...

Я видел снизу, как у матери задрожали губы.

— Подобрали бы, голубушка. Впрочем, суд разберет.

Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож — старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал наутро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сквородников выжиг мою фамилию сквозь увеличительное стекло.

Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не поверили бы чиновники, сидевшие в энциком присутствии за высокими барьерами в полутемных залах. Но тогда! Чем больше я думал, тем все тяжелее становилось у меня на душе. Значит, по моей вине арестовали отца, по моей вине мы теперь голодаем. По моей вине было продано новое драповое пальто, на которое мать целый год копила. По моей вине она должна ходить в присутствие и говорить таким незнакомым голосом и униженно кланяться этому невидимому человеку с такими длинными, страшными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки...

Никогда еще с такой силой я не чувствовал свою немоту.

Глава четвертая ДЕРЕВНЯ

Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких, медленнодвигающихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме.

Мать стирала в больнице, — уходила с утра, когда мы еще спали, а я шел к Сквородниковым и слушал, как ругался старик.

В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой черной кухне на низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло — оно называлось «точить лясы» — он вывез с Волги, откуда был родом.

Он любил меня — должно быть, за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев. Но с особенной злостью он ругал попов:

— Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на бога? Попы говорят, что нет. А я говорю: да! Что такое ропот?

Я не знал, что такое ропот.

— Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе предназначено. Попы говорят: нельзя. Почему?

Я не знал почему.